

Шила Хети



*Каким
быть
человеку?*

No Kidding Press

18+

Перевод осуществлен при финансовой поддержке Канадского совета по делам искусств.

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts for this translation.



Sheila Heti

How should a person be?

henry holt and company

Шила Хети

Каким быть человеку?

No Kidding Press

Информация от издательства

This edition is published by arrangement with Sterling Lord Literistic and The Van Lear Agency LLC.

Хети, Ш.

Каким быть человеку? / пер. К. Зорич под ред. М. Литвишковой. — М. : No Kidding Press, 2022.

ISBN 978-5-6047288-2-6

«Каким быть человеку?» — вопрос, на который пытается ответить героиня книги, Шила, вместе с ближайшей подругой Марго и их друзьями — современными художниками и интеллектуалами, живущими в наши дни в Торонто. Персонажи книги пытаются найти свое место в жизни, в творчестве и в отношениях с людьми, путешествуют, пробуют разные профессии, попадают в грустные и нелепые ситуации. Внезапный конфликт с лучшей подругой заставляет героиню-писательницу иначе взглянуть на себя и свою жизнь. «Каким быть человеку?» — это ироничное смешение автобиографии и вымысла, написанное дерзким, современным, ярким и образным языком. Шила Хети пишет в поисках смысла, одновременно лишая сам акт письма и язык сакрального значения. Постоянно переключаясь между прозой и драматургическим диалогом, включая в текст фрагменты имейл-переписки, она дезориентирует читателя, ломая ритм повествования всякий раз, когда он становится привычным. Правила игры в романе пересобираются снова и снова с той же серьезностью и лукавством, с которой звучит и сам заглавный вопрос в XXI веке.

HOW SHOULD A PERSON BE © 2012 by Sheila Heti

© Катя Зорич, перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2021

Каким быть человеку?

Посвящается Марго

ПРОЛОГ

Каким быть человеку?

Годы напролет я задавала этот вопрос каждому, кого встречала. В любой ситуации я наблюдала за поведением людей, чтобы потом поступать так же. Я прислушивалась к ответам, чтобы сделать из них свои, если люди нравились мне. Я замечала, как они одеты, как ведут себя в паре — в каждом было что-то, чему можно позавидовать. Любым человеком можно восхищаться лишь потому, что он является самим собой. Я бы даже сказала, что сложно не восхищаться, когда все делают это так успешно. Но как можно выбрать кого-то одного, когда смотришь на них целиком, в массе? Как можно выбрать и сказать: «Уж лучше я буду ответственной, как Миша, чем безответственной, как Марго?» Мише так идет ответственность, а безответственность — Марго. А откуда мне знать, что больше подойдет мне?

Я восхищалась всеми легендарными личностями нашего времени, от Энди Уорхола до Оскара Уайльда. Казалось, все они были самими собой до кончиков пальцев. Не то чтобы я думала: «У них были великие души»; скорее: «Эти люди стали великими личностями на своем веку». Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн — они много всего *сделали*, но в первую очередь они много чем *были*.

Я знаю, что «личность» — это просто медийное изобретение. Я знаю, что характер существует только снаружи. Я знаю, что внутри тела — всего лишь температура. Так как же создать душу? Приходит время, когда надо забыть о душе и просто делать свою работу. Продолжать закапываться в вопросы души — значит упускать смысл жизни. Конечно, я могла бы говорить это с большей уверенностью, если бы я что-то про смысл жизни знала. Но слишком беспокоиться по поводу Оскара Уайльда и Энди Уорхола — тщеславно, в конце концов.

Каким быть человеку?

Я часто думаю об этом и не могу удержаться от такого ответа: быть знаменитостью. Но несмотря на всю мою любовь к знаменитостям, я бы никогда не стала жить среди них. Я надеюсь на простую жизнь, в простом месте, где всего и всех по одному экземпляру.

Под *простой жизнью* я имею в виду нескончаемую славу, в которой мне не надо принимать участия. Я не хочу изменений, разве что я стала бы настолько известной, насколько вообще может быть человек, а всё остальное было бы прежним. В душе все бы знали, что я — самый известный ныне живущий человек, — но не слишком бы это обсуждали. За мной не охотились бы папарацци, потому что у всех в сознании хранился бы мой образ, незыблемый, удивительный и притягательный. Никого бы не интересовало мое мнение, потому что его и нет, и никого не интересовали бы подробности моей жизни, потому что подробностей, которыми бы стоило интересоваться, нет. Весь смысл моего стремления к славе — в ее значимости, без каких-либо других составляющих.

Через час ко мне придет Марго, и между нами состоится привычный разговор. Пока мне не исполнилось 25, у меня вообще не было друзей, зато друзья, которыми я обзавелась теперь, — постоянный источник моего интереса. Мы с Марго любопытным образом дополняем друг друга. Она пишет мой портрет, а я записываю, что она говорит. Каждая из нас делает всё, что может, чтобы другая почувствовала себя известной.

В этом смысле мне должно быть достаточно того, что я кажусь известной трем или четырем своим друзьям. И всё же это лишь иллюзия. Они меня любят за то, какая я на самом деле, а я бы предпочла, чтобы меня любили за то, какой я кажусь, но при этом я хотела бы казаться той, кем являюсь на самом деле.

Все мы — частички пыли, единовременно существующие на этой земле. Я смотрю на тех, кто живет сейчас и думаю: «Это — мои современники. Черт возьми, это — мои современники!» Мы живем в эпоху великих мастеров минета.

Каждая эпоха знаменательна своей собственной формой искусства. Говорят, девятнадцатый век отличился романами.

Я, как могу, стараюсь подавлять рвотный рефлекс. Я знаю, что парней возбуждает, когда они касаются мягкой стенки горла в самой его глубине. В такие моменты я стараюсь дышать через нос, чтобы меня не вырвало прямо на член. Недавно меня даже слегка стошнило, но я как ни в чем не бывало продолжила сосать. Довольно скоро следов рвоты не осталось, а парень потянул меня наверх, чтобы поцеловать.

Во всем прочем, кроме минетов, — мне надоело играть в идеальную девушку. Реально надоело. И если я его достала, пусть бросает меня нафиг. У меня хоть освободится время, чтобы быть гением.

У женщин есть следующее преимущество: среди нас еще не очень много примеров тех, кого называют гениями. Я вполне могла бы быть гением. Идеального образца гениального женского ума не существует. С мужчинами-то всё вполне ясно. Поэтому они всегда стараются себя нахваливать. Мне смешно, когда они не объясняют, что имеют в виду, надеясь, что их станут вечно изучать в университетах. Я имею в виду тебя, Марк З., и тебя, Кристиан Б. Продолжайте нести свое псевдогениальное фуфло, пока я делаю минеты на небесах.

Мои предки взяли все свои пожитки, то есть ничего, оставили рабский быт и последовали за Моисеем в пустыню на поиски земли обетованной. Сорок лет они блуждали по горячим пескам. Ночью отдыхали где придется, у подножий дюн, нанесенных ветром. Поутру они брали горстку муки из мешков, смачивали ее слюной и вымешивали гладкое тесто, а затем снова, сторбленные, отправлялись в путь через пески, неся тесто на спине. Тесто впитывало соль их пота и затвердевало на солнце, служа потом обедом. Некоторые плоско его раскатывали, и так появилась маца. А другие скатывали тесто в трубочку и скрепляли концы, и так появились бейглы.

Долгие годы я делала опечатку в слове *душевный* и писала его как *дешевный*. Это моя единственная постоянная опечатка. Как-

то раз я познакомилась во Франции с девушкой, и она сказала: «Не расстраивайся! Может, это вовсе не значит, что у тебя дешевая душа! — Я грустно уставилась в свое пиво. — Скорее, у тебя нет души на продажу».

Мы ели в индийском ресторане. Неподалеку от нас сидел англичанин, и он аж просветлел. Он сказал: «Как приятно услышать здесь английскую речь! Я английского не слышал уже несколько недель». Мы старались не улыбаться, потому что по моему опыту стоит лишь улыбнуться мужчине, как он примется с двойным усердием надоедать и зря тратить ваше время.

Я неделю думала о том, что сказала эта девушка. И решила подступить к задаче, которую так давно откладывала, слишком долго рассчитывая, что проблема сама собой разрешится со временем, без моего участия, глубоко в душе осознавая, что я ее избегаю, пытаюсь залатать себя восхищением, которое испытываю к чертам окружающих — всех, кроме себя самой. Я строго себе сказала: «Хватит задавать вопросы про других. Пришло время залезть в кокон и начать пряхсть свою душу». Но по возвращении в город план как-то забылся, и вместо этого я просто каждый вечер проводила с друзьями, совсем как до отъезда в Европу.

Джен, девушке, которая пыталась меня утешить, перевалило за тридцать. Она была знакомой знакомых — американка, живущая в Париже, которая дружелюбно приютила меня у себя на несколько ночей. Джен проводила фокус-группы для больших корпораций, включая Армию Соединенных Штатов, которая обратилась к ней за помощью с рекламой призыва на службу. Джен испытывала некоторые нравственные сомнения по этому поводу, но еще больше она беспокоилась о своем молодом человеке, который вдруг почему-то стал игнорировать ее. Это оказалось ее основным переживанием, когда я у нее гостила, — ведь оно было наиболее эмоциональным.

Есть люди, которым повезло — они непохожи на Маугли,

и именно они сообщают движение нашей планете. Благодаря им продолжает существовать мир, в котором остальным можно вдоволь напереживаться, каким человеком им следует быть. Я всё читала, я знаю, что пишут в таких книгах: «Будь собой, только лучшей версией себя, во всех отношениях!» Вчера Марго рассказала мне историю о себе в младенчестве, которую часто пересказывает ее мама. Марго очень поздно заговорила, и все думали, что она несколько глуповата. У мамы Марго была подруга, которая серьезно поехала на всех этих книгах по самопомощи и всевозможных кассетах о способах самосовершенствования. Однажды она рассказала маме Марго о технике, согласно которой в любой непростой жизненной ситуации надо вскинуть руки и сказать: «Да какая разница!» В тот же вечер, когда родители Марго, ее сестра, немногим старше ее, и сама Марго, сидевшая на высоком детском стульчике, ужинали, ее сестра пролила молоко и стакан разлетелся осколками по всему столу. Мама начала кричать, сестра плакать. Затем с высокого стульчика до них донесся голосок Марго: «Да какая разница!»

Вы меня, конечно, извините, но я счастлива, что она моя лучшая подруга. Если бы ребенком я знала, что где-то в Америке другой ребенок вскидывает руки и первыми своими словами утверждает: «Да какая разница!» — и, более того, что в один прекрасный день этот ребенок станет моей лучшей подругой, я бы выдохнула и расслабилась, а потом беспечно жила бы себе все последующие 23 года.

АКТ ПЕРВЫЙ

Глава первая *ШОЛЕМ ПИШЕТ КАРТИНУ*

Мы собрались на воскресный бранч. Я пришла первой, потом подошли Миша и Марго, наконец — Шолем и его парень, Джон.

Парой недель раньше владельцы дайнера перекрасили бежевые стены, со временем покрывшиеся жирным налетом, в несколько слоев пастельного голубого и поверх баллончиками нарисовали яичницу-болтунью, полоски бекона и оладьи с сиропом. Это слегка подпортило атмосферу, но еда здесь была дешевой, места всегда хватало, и для нас всегда находился столик.

Мы с Марго взяли на двоих один завтрак дня и тост с горячим сыром. Джон спросил, будем ли мы нашу картошку фри. Я уже не помню, о чем мы тогда начали говорить и кто в тот день был смешнее всех. Я вообще не помню подробностей беседы, пока речь не зашла об уродстве. Я сказала, что несколько лет назад я взглянула на свое окружение и поняла, что уродливые люди словно растворились. Шолем сказал, что не может получать удовольствия от дружбы с человеком, который не кажется ему привлекательным. Марго ответила, что не может представить себе уродливую личность, а Миша заметил, что некрасивые люди чаще всего сидят дома.

Из гнусных семян этого разговора пророс Конкурс уродливой картины.

Когда Шолем был подростком, он мечтал стать театральным актером, но его родители не хотели, чтобы он шел в театральный институт. Они считали, что это непрактично, и уговорили его вместо этого поступить в художественное училище. Так он и сделал; как-то раз на первом курсе он засиделся за картиной и застал рассвет. Внезапно он испытал сильнейший душевный порыв, и голос внутри него произнес: «Я должен быть художником. Мне необходимо рисовать всю оставшуюся жизнь. Ни на что другое я не соглашусь. Только так

может выглядеть мое будущее».

Это стало одновременно озарением и принятием решения, все дороги назад теперь были отрезаны — самый первый и самый значимый обет в жизни Шолема. Так что прошлой весной он защитил дипломную работу и стал магистром изящных искусств.

Кому пришло в голову устроить Конкурс уродливой картины? Я уже не помню, но как только загорелась этой идеей я, за мной последовали и остальные. Вот в чем она заключалась: Марго с Шолем сразятся за звание автора самой уродливой картины. Мне очень этого хотелось и не терпелось посмотреть на результаты. Втайне я даже завидовала им. В одночасье мне тоже захотелось быть художницей. *Я сама* жаждала нарисовать что-то уродливое, поставить свое творение рядом с их работами и посмотреть, кто же выиграет. На что была бы похожа моя картина? Как бы я подошла к этой задаче? Мне казалось, что заниматься живописью было бы просто и увлекательно. Я так долго и мучительно пыталась превратить пьесу, которую я писала, — как и свою жизнь, и саму себя, — в прекрасный объект. Это было изнурительное занятие, которое занимало всю меня полностью.

Марго сразу согласилась участвовать в конкурсе, а вот Шолем сомневался. Он не видел в этом смысла. Изначальная установка — *сознательно* создать что-то уродливое — очень его отталкивала. *Зачем?* Но я долго его подстегивала и уламывала, и наконец он сдался.

Как только Шолем вернулся домой после бранча, он сразу взялся за дело: как он объяснял мне потом, чтобы больше не думать об этом и избавиться от давящей перспективы нарочно создавать нечто уродливое.

Он пошел прямиком в мастерскую, уже придумав, что будет делать. Он представлял себе, что это станет своего рода творческим упражнением и что он сможет отнести к нему максимально хладнокровно. Ему просто надо было воспроизвести всё то, что его больше всего бесило в работах

своих студентов. Он начал рисунок аккуратно в середине листа бумаги, ведь бумага уродливее холста. Набросал странноватого мультяшного человечка в профиль, с выпученными глазами, и вместо того, чтобы выписать тени и полутона, он четко обвел все контуры, вырисовывая каждую ресничку. Вместо ноздри он нарисовал дырку. На фоне изобразил пушистые белые облака поверх треугольников оранжевых гор. Фон сделал блевотным серо-буро-малиновым, использовав засохший минеральный осадок на дне банки, в которой он мыл кисти. Для цвета кожи он просто смешал красный и белый цвета, а для теней использовал синий. Шолем думал, что рисунок еще можно будет спасти, но тот становился всё гаже и гаже, и в какой-то момент Шолему стало до того не по себе, что он поспешил покончить с ним. Окунув широкую кисть в черную краску, он небрежно вывел внизу картины: «Солнце выйдет завтра». Затем он отошел на шаг назад, взглянул на результат и почувствовал такую волну отвращения, что поспешно вынес рисунок из мастерской и оставил его сушиться на кухонном столе.

Шолем вышел купить чего-нибудь на ужин, но всё время, пока ходил, он чувствовал подступающую тошноту. Когда он вернулся домой и поставил пакеты из магазина на столешницу, взгляд неминуемо упал на рисунок, и Шолем подумал: «Не могу же я смотреть на это каждый раз, как буду заходить на кухню». И он отнес его в подвал, к стиральной машине и сушилке.

С того момента день становился только хуже и хуже. Рисунок вызвал к жизни вереницу депрессивных, темных мыслей, и, когда наступил вечер, Шолем был в отчаянии. Джон вернулся домой, и Шолем стал ходить за ним хвостом по квартире, жалуясь на всё подряд. Даже когда Джон ушел в ванную и закрыл перед Шолемом дверь, тот всё стоял снаружи и ныл, какой же он неудачник, повторяя, что ничего хорошего его больше не ждет, да никогда и не ждало; жизнь прожита зря. «Стараешься изо всех сил, дрессируешь собаку, — кричал он через дверь, — и собака — это твоя рука! Но однажды тебе придется палкой выбить из собаки всё хорошее, чему она

научилась, чтобы она озлобилась. Вот сегодня был такой день!»

Джон хмыкнул.

Шолем поплелся в гостиную и разослал всей нашей группе имейл: «Мне стыдно, я презираю себя из-за нашего проекта. Я закончил свой уродливый рисунок, и у меня такое чувство, словно я сам себя изнасиловал. А как дела с твоей работой, Марго?»

Марго, более талантливая в художественном отношении, ответила: «Я весь день валялась на кровати и читала „Нью-Йорк таймс“».

Пятнадцать лет назад в нашем городе жил художник по имени Илай Лэнгер. Когда ему было двадцать шесть, в одном творческом объединении устроили его первую выставку. Картины были невероятные, мастерски выполненные в насыщенных бурых и красных тонах, полные тревоги и смятения. В их загадочном полумраке — в стариках, девушках, плюшевых стульях, окнах и оголенных коленях — угадывалось какое-то особое настроение. Те несколько лиц, что выглядывали из тьмы, освещенные слабым лунным светом, омрачала печаль. Картины были огромными и словно говорили, что их автор — очень уверенный и независимый человек.

Выставка длилась всего неделю, а потом полицейские прикрыли ее. Люди увидели в картинах детскую порнографию. Холсты отобрали, и суд постановил их уничтожить.

Об этом писали газеты по всей стране, а суд показывали по телевизору еще целый год. Известные художники и интеллектуалы не остались в стороне, многие высказывались публично и писали статьи в защиту творческой свободы автора. В конце концов судья частично оправдал Илая; картины ему вернули, но с условием, что никто никогда их больше не увидит. Он оставил полотна в дальнем углу чердака в доме своей матери, где они и лежат по сей день, покрытые пылью и плесенью.

Суд истощил и потрепал Илая. Стоя перед холстом с кистью наготове, он ощущал, что вдохновение его оставило. Он уехал

из Торонто в Лос-Анджелес, потому что думал, что там почувствует себя свободнее, но художественные образы всё равно больше не возникали в его воображении так легко, как прежде.

Он был совершенно раздавлен этой прежде незнакомой ему неуверенностью в себе и стеснением. Его холсты, когда-то столь огромные, стали совершенно миниатюрными, и рисовал он теперь в основном робкими белесыми мазками, иногда белорозовыми, иногда накладывая светлый желтый или самый невзрачный голубой. Даже подойдя вплотную, разглядеть что-либо было решительно невозможно. Для тех немногих сольных выставок, которые Илай провел в годы после суда, он писал исключительно абстрактные картины; от фигуративной живописи не осталось и следа.

Несколько раз в год Илай возвращался в Торонто на неделю-другую, ходил на арт-тусовки, обсуждал живописцев и важность живописи, уверенно рассуждал о мазках, цвете и линиях и нюхал кокаин, такой чувствительный и такой грубый. На его предплечьях красовались вытатуированные двенадцатым кеглем буквы — инициалы местных женщин-художниц, которых он когда-то любил, ни одна из которых больше с ним не разговаривала. Мужчины-художники заключали его в объятия, как блудного сына, и по городу всякий раз расходился слух: «Вы уже видели Илая Лэнгера? Илай вернулся!»

В конце прошлой зимы у Марго состоялась первая беседа с Илаем. Они сидели на кованой скамейке во дворе галереи после открытия. Вокруг лежал снег, и они согревались костром, разожженным в железной бочке.

Марго была усерднее всех художников, которых я знала, и при этом скептичнее прочих относилась к воздействию искусства на людей. Хотя лучше всего она чувствовала себя в мастерской, я никогда не слышала, чтобы она говорила о значимости живописи. Конечно, она надеялась, что в искусстве, которым она занималась, есть смысл, но у нее оставались сомнения. Это заставляло ее работать в два раза усерднее, чтобы ее профессиональный выбор значил как можно больше.

Она никогда не обсуждала галереи и не разглагольствовала о том, какая марка краски лучше. Иногда она слегка падала духом и расстраивалась, что не выбрала политическую карьеру — так она бы занималась чем-то осязаемо полезным. Ей казалось, что у нее неплохо получилось бы заниматься политикой, потому что в ней словно жил маленький диктатор или по меньшей мере несокрушимая диктаторская уверенность. Первое, что она чувствовала по утрам, — это стыд за всё, что шло в мире не так и что она не пыталась исправить. Поэтому ей было неловко, когда ее хвалили за выразительность работы кистью или называли ее работы *красивыми* — она утверждала, что не понимает значения этого слова.

Той ночью, сидя у огня, горящего в бочке, они с Илаем несколько часов подряд проговорили о цвете, работе кистью и линиях. Несколько месяцев они переписывались по электронной почте, и на короткое время она переродилась в художника его формата — такого, который уважал живопись саму по себе. Но через пару месяцев ее страсть во всех смыслах развеялась.

«Он всего лишь очередной мужчина, который пытается меня чему-то учить», — подытожила она.

• • •

Мы с Мишей в тот день собирались прогуляться, поэтому я направилась к ним с Марго — они снимали одну квартиру на двоих. Когда я пришла, Миша сидел у себя в кабинете за компьютером, проверяя почту и беспокоясь о жизни.

Мы вместе вышли и зашагали по району в сторону севера. День был по-настоящему жаркий, редкость для того лета. Когда начали опускаться сумерки, я спросила у Миши, не начала ли еще Марго рисовать свою уродливую картину. Вроде нет, сказал он. Мне не терпится посмотреть на результат, объяснила я. Миша ответил:

— Шолему это всё очень полезно. Он так боится всего хиппарского.

— А что, рисовать уродливую картину — по-хиппарски? — спросила я.

— В каком-то смысле, да, — отозвался он. — Это ведь чистый эксперимент, без какой-либо очевидной выгоды. Это уж точно более хиппарский поступок, чем нарисовать картину, которая у тебя наверняка получится.

— А зачем Шолему браться за картину, если он не уверен, что она получится?

— Вот уж не знаю, — ответил Миша. — Но я уверен, что Шолем боится ударить в грязь лицом, сделать что-то неправильно. Ему как будто страшно сделать неверный шаг — хоть в чем-то, хоть в какую-то сторону. Этот постоянный страх сделать неверный шаг все-таки сильно ограничивает. Художнику *полезно* пробовать разное. Художнику *полезно* быть нелепым, смешным. Шолему *нужно* побыть хиппи, потому что он слишком предусмотрительный.

— А что не так с предусмотрительностью?

— Ну, это всё вопрос терминологии, тебе не кажется? Разве на бранче не в этом было дело? Шолем сказал, что для него свобода — иметь техническую возможность изобразить всё, что захочется, вообще любую картину, которая придет ему в голову. Но это же не свобода! Это контроль или власть. А вот Марго, мне кажется, под свободой понимает именно способность пойти на риск, свободу сделать что-то плохо или показаться смешной. Не чувствовать этой разницы — довольно опасно.

Я напряглась и ничего не ответила. Мне хотелось встать на защиту Шолема, но я не знала как.

— Это как с импровизацией, — сказал Миша. — Настоящая импровизация в том, чтобы удивить себя самого, но большинство людей не импровизирует по-настоящему. Им страшно. Вместо этого они просто показывают фокусы один за другим. Они берут что-то, что уже умеют делать, и применяют это в каждой новой ситуации. Но это же мухлеж! А для художника мухлевать — плохо. Это и в жизни-то не очень, а в искусстве совсем уж скверно.

Мы завернули круг в десяток кварталов, и солнце успело

зайти, пока мы разговаривали. Дома и деревья стали темно-синими. Миша сказал, что у него назначен телефонный разговор, и мы направились обратно к его дому. Его рабочая рутина была довольно странной, я не до конца ее понимала, так же как и он сам, и иногда это сбивало его с толку и расстраивало. Казалось, что в его работе не было никакой структурности или слаженности. Он занимался только тем, что ему удавалось или приносило удовольствие. Иногда он обучал импровизации актеров-любителей, иногда он саботировал открытие ночных клубов в том португальском районе, где мы все жили, а иногда вел телешоу. У его работы не было названия, всё это не собиралось под одним колпаком. В коротких автобиографических эссе, запрошенных Гарвардом, — их собирали для толстого, обтянутого кожей сборника, который раздавали на пятнадцатой годовщине их университетского выпуска, — его однокурсники не скупились на слова, распространяясь о своей мировой славе и успехе, о своих детях, женах и мужьях. Миша просто написал:

«Неужели никому, кроме меня, не кажется странным, что мы учились в Гарварде, учитывая то, какой жизнью мы живем сейчас? Я живу с девушкой в скромной квартирке над магазином бикини в Торонто».

— Спокойной ночи, — сказала я.

— Спокойной ночи.

Несколько лет назад, будучи помолвленной, я очень боялась свадьбы. Мне было страшно, что всё закончится разводом, как у моих родителей, и я не хотела совершать большую ошибку. Я пришла к Мише поделиться своей тревогой. Мы выпивали на вечеринке, потом решили пройтись по ночному городу, мягко шагая по воздушному, свежевывавшему снегу.

Пока мы шли, я рассказала Мише о своих страхах. Он какое-то время слушал меня, а потом сказал: «Единственное, что я понял за свою жизнь, — это что всем надо совершать большие ошибки».

Я искренне прислушалась к его совету и вышла замуж. Через

три года я развелась.